

*Екатерина Суворова*

# **ПРОПАСТЬ**

*Дитя тьмы*



Екатерина Суворова  
**Пропасть. Дитя тьмы**

«Автор»

2026

## **Суворова Е.**

Пропать. Дитя тьмы / Е. Суворова — «Автор», 2026

Город поверил, что проклятие снято, а доброта — спасение. Но когда печать пала, проснулся тот, кто играет на ваших чувствах. Тот, кто нашёптывает каждому его самые тайные желания, кто открывает все пороки и называет добродетели самой страшной ловушкой. Дневник отца, спрятанный под полом старой церкви, расскажет правду: мальчик — не жертва. Но кто он? Ответ погребён под вековой ложью. Пока жители винят друг друга, а Грэнтон захлёбывается в страхе и ненависти, Лиам Брок находит на страницах дневника послание, от которого кровь стынет в жилах. Теперь он знает: зло не заперто в горе. Оно ходит по улицам, носит знакомое лицо и смеётся над теми, кто открыл ему дверь собственной жалостью. Чтобы остановить его, недостаточно оружия — нужно пожертвовать всем. Добродетели жалость и любовь завели жителей Грэнтона в пропасть. Город на грани безумия. Смогут ли бывший шериф Лиам Брок победить зло, которое носит лицо ребёнка и не знает пощады?

© Суворова Е., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Пролог. Грех отца (1872-1882)	5
Глава 1. Счастливые времена	6
Глава 2. Сон Эстер	10
Глава 3. Рождение Джейкоба	14
Глава 4. Змеёныш в доме	17
Глава 5. Смерть матери	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

**Екатерина Суворова**  
**Пропась. Дитя тьмы**  
**Пролог. Грех отца (1872-1882)**

## Глава 1. Счастливые времена

Осень 1872 года пришла на восточные склоны Каскадных гор рано и незаметно, как приходит старость к тому, кто не хочет её замечать. Сперва только воздух переменялся — стал суше, прозрачнее, и в нём появился тот особенный запах, какой бывает, когда папоротники и дикая мята начинают отдавать земле накопленное за лето тепло. Потом листва на клёнах у Чёрного ручья вспыхнула жёлтым и багряным, а по утрам на досках крыльца стал проступать иней — тонкий, хрупкий, исчезающий с первыми лучами солнца.

Иезекииль Валли любил это время года больше всех прочих. Летом работа валила с ног: лесопилка в Грэнтоне требовала брёвен, а значит, нужно было валить лес, обрубить сучья, таскать стволы к ручью, откуда их сплавливали вниз по течению. Зимой заметали снега, и приходилось больше сидеть в четырёх стенах, слушая, как ветер воет в щелях, и борясь с той особенной, глухой тоской, что приходит к человеку в долгие тёмные вечера. Но осень была временем покоя. Работы ещё хватало, но она была неспешной: починить крышу, заготовить дрова, проверить силки на кроликов. И главное — по вечерам можно было сидеть на крыльце, глядя, как тени удлиняются, а небо на востоке наливается густой, тревожной синевой.

Иезекииль Валли в свои тридцать пять был человеком широким в кости и узким в талии — из тех, кого работа не старит, а только сушит, превращая в подобие старого, крепкого дуба. Лицо его, обветренное и тёмное от загара, редко выражало что-то, кроме спокойной уверенности. Глаза, серые с прозеленью, смотрели на мир прямо и оценивающе, но без враждебности — так смотрит плотник на доску, прикидывая, куда пойдёт волокно. Борода, тёмно-русая, уже тронутая первой сединой, была коротко подстрижена, потому что он не любил ничего лишнего — ни в одежде, ни в словах, ни в мыслях.

Его жена Эстер была на семь лет моложе и во многом полной его противоположностью — тонкая, светлая, с глазами цвета лесного ореха, которые никогда не оставались подолгу на одном месте. Она двигалась по дому и двору легко, почти бесшумно, и со стороны могло показаться, что она не ходит, а плывёт. В её голосе, когда она пела, развешивая бельё или помещивая похлёбку в чугунок, звучало что-то от ручья, протекавшего в сотне ярдов от дома, — та же прозрачность, то же журчание, тот же намёк на глубину, которую не измерить взглядом.

Хутор, который они построили пять лет назад, когда только поженились, стоял на дальнем краю долины, там, где лес подступал к самым окнам, а гора, которую местные индейцы из племени клатскат называли Спящим Великаном, чернела на востоке, заслоняя полнеба. Иезекииль сам выбрал это место — здесь был хороший выход скальной породы, а значит, почва под фундамент уйдёт неглубокая, и вода в колодце не уйдёт в трещины. Дом срубили из толстых, пахнущих смолой пихт, проконопатили мхом и глиной, покрыли крышу дранкой. Получилось неказисто с виду, но надёжно — так, что в самые лютые ветры, какие только помнили старожилы, стены не скрипели, а печь не дымила.

Внутри дома пахло сушёными травами, воском от натёртых полов и тем особенным, ни с чем не сравнимым теплом, которое бывает только там, где живут двое и счастливы друг с другом. На подоконниках Эстер держала горшки с мятой и геранью, а над очагом висела единственная дорогая вещь — маленькая икона Богородицы, которую Иезекииль выменял у проезжего торговца за три связки отборных шкур бобра. Эстер каждый вечер зажигала перед ней лампадку, и крошечный огонёк отражался в тёмном лице, придавая ему что-то живое, почти человеческое.

В тот вечер, о котором идёт речь, они сидели на крыльце, как сидели почти каждый вечер в эту пору. Солнце уже село, и над горой разлилось то особенное, густо-фиолетовое свечение, какое бывает только осенью, когда воздух чист, а тени глубоки. Иезекииль, отложив в сторону недоделанную упряжь, курил трубку и смотрел на восток. Эстер сидела рядом, укутавшись в

шерстяную шаль, и вышивала — мелко, аккуратно, склонив голову так, что свет из окна падал ей на золотистые волосы.

— Ты сегодня долго в лесу был, — сказала она, не поднимая глаз от работы. — Я уже два раза чайник грела.

— Следы видел, — ответил Иезекииль, выпуская облачко душистого дыма. — Олень прошёл, большой. Наверное, тот самый, что в прошлом году у Бейкеров капусту потравил. Думаю, завтра пойти посмотреть, может, удастся подстрелить. Мяса на зиму мало ещё.

— Успеется, — улыбнулась Эстер. — Зима ещё далеко. Ты бы лучше отдохнул денёк. Всё работаешь и работаешь.

— Работа не в тягость, когда по сердцу, — ответил он, но в голосе его слышалась нежность, которую он никогда не умел выразить словами. Вместо этого он положил свою большую ладонь поверх её маленькой руки, замершей с иглой на полпути.

Эстер подняла глаза. В неверном свете умирающего дня они казались почти чёрными, но Иезекииль знал, что на самом деле они цвета лесного ореха, с золотистыми искорками у зрачка, которые появлялись только тогда, когда она смеялась.

— О чём задумалась? — спросил он, заметив, что улыбка её вдруг стала задумчивой, почти грустной.

— О нас, — сказала она. — О том, что хорошо бы ребёночка. Мальчика.

— Мальчика? — Он усмехнулся, и в его глазах блеснул тёплый, домашний огонёк. — Почему именно мальчика?

— Чтобы был на тебя похож. Такой же сильный. Такой же... — она запнулась, подбирая слово, — такой же спокойный. Чтобы ничего не боялся.

— А я и не знал, что ты считаешь меня храбрым, — сказал Иезекииль и рассмеялся. Смех его, низкий и раскатистый, прокатился по пустому двору и замер где-то у кромки леса, не вызвав эха.

— Ты самый храбрый из всех, кого я знаю, — серьёзно сказала Эстер. — Потому что ты не боишься того, чего боятся другие.

— Чего же это?

— Темноты, — просто ответила она и снова склонилась над вышивкой.

Иезекииль ничего не ответил. Он затаился трубкой и перевёл взгляд на восток, где над горой уже разливалась чернота, а деревья на склоне сливались в одну сплошную, непроницаемую стену.

Гора Пропась. Так её называли ещё первые поселенцы, а индейцы, жившие здесь раньше, дали ей имя Спящий Великан и обходили стороной. Никто не знал, почему. Старики из Грэнтона рассказывали, что в расселине на восточном склоне время от времени пропадали охотники, но в тех краях мало ли что рассказывали старики. Иезекииль не был суеверен. Он верил в Господа Бога, в тяжёлый труд и в то, что человеку, живущему по совести, нечего бояться ни зверя, ни темноты, ни того, что прячется в расселинах.

Эстер отложила вышивку и тоже посмотрела на гору. Некоторое время она молчала, и выражение её лица стало отстранённым, почти отсутствующим — такое бывало с ней временами, когда она вдруг замирала посреди работы и смотрела куда-то вдаль, будто прислушиваясь к чему-то, чего не слышал больше никто.

— Ты когда-нибудь думаешь о том, что там, внутри? — спросила она тихо.

— Внутри чего?

— Горы.

Иезекииль пожал плечами.

— Камень там. Может, руда какая. Или вода. Говорят, там старые шахты, ещё с индейских времён. А что ещё может быть в горе?

— Не знаю, — прошептала Эстер. — Иногда мне кажется, что она не просто стоит. Что она... дышит.

Иезекииль усмехнулся — на этот раз чуть более натянуто, чем обычно.

— Выдумки это, — сказал он. — У тебя воображение слишком живое. Книжки бы тебе писать, а не носки штопать.

Но Эстер не улыбнулась в ответ. Она продолжала смотреть на гору, и её руки, лежавшие на коленях, слегка дрожали, хотя вечер был не холодным.

Ветер, который всё это время был тихим и почти незаметным, вдруг переменялся. Он подул с востока, и в его дыхании, кроме привычного запаха хвои и сырого камня, появилось что-то ещё — сладковатое, приторное, напоминающее запах увядающих лилий. Иезекииль почувствовал его и нахмурился. Эстер втянула воздух носом и вдруг побледнела.

— Что такое? — спросил он, заметив, как изменилось её лицо.

— Там, — прошептала она, указывая пальцем на опушку леса, что начинался в полусотне ярдов от их дома. — Там что-то есть.

Иезекииль прищурился, вглядываясь в сгущающуюся тьму. Сначала он ничего не видел — только знакомые очертания пихт и елей, только тени, колышущиеся от ветра. Но потом его взгляд уловил что-то ещё. Что-то, что двигалось. Медленно. Слишком высоко для оленя и слишком бесшумно для медведя.

Это была тень. Высокая — выше человеческого роста, — и какая-то неправильная. Она не шла, а скорее перетекала между стволами, как вода, меняющая русло. Иезекииль моргнул, и тень исчезла. Остался только лес, темнеющий в сумерках.

— Тебе померещилось, — сказал он, но голос его прозвучал не так уверенно, как ему хотелось бы. — Это просто олень. Или облака луну закрыли.

— Это был не олень, — прошептала Эстер. — У него... у него были рога. Но не как у оленя. Как ветви. Сухие. Чёрные.

Иезекииль поднялся, отложил трубку и спустился с крыльца. Он сделал несколько шагов в сторону леса, вглядываясь в темноту, но не увидел ничего подозрительного. Только шелест ветра в кронах да далёкий, одинокий крик ворона, донёсшийся откуда-то со стороны горы.

— Никого, — сказал он, оборачиваясь к жене. — Лес есть лес. Зверьё шастает, вот и мерещится всякое. Пойдём в дом. Холодает.

Эстер кивнула, но не двинулась с места. Она продолжала смотреть в темноту, и её губы едва заметно шевелились, как будто она произносила про себя какую-то молитву.

— Эстер, — окликнул он её мягче. — Пойдём.

Она вздрогнула, будто очнулась, и наконец поднялась. Когда она проходила мимо мужа в дом, он заметил, что её пальцы, сжимавшие шаль, побелели от напряжения.

Ночью, когда луна поднялась над горой и залила комнату холодным серебристым светом, Иезекииль проснулся от звука, которого никогда раньше не слышал в своём доме. Это был крик. Не вскрик испуга, не стон боли, а долгий, низкий, животный вопль, полный такого беспроектного ужаса, что у него волосы встали дыбом на затылке. Он сел в постели, сбрасывая остатки сна, и увидел, что Эстер лежит рядом с открытыми глазами, устремлёнными в потолок, и кричит. Кричит, не просыпаясь. Её тело было напряжено, как струна, а по лицу катились слёзы.

— Эстер! — Он схватил её за плечи, затряс. — Эстер, проснись! Это сон! Ты слышишь меня? Это сон!

Она дёрнулась раз, другой, и вдруг замолчала. Её глаза, всё ещё полные ужаса, остановились на лице мужа, и она прошептала что-то неразборчивое.

— Что? — спросил он, наклоняясь ближе. — Что ты сказала?

— Он приходил, — прошептала она. Голос её был сухим, как шелест осенних листьев. — Он стоял в углу и смотрел на меня. Я не могла пошевелиться.

Иезекииль оглянулся. Угол комнаты, тот, где висела икона, был пуст. Только тени от луны скользили по стене, создавая причудливые, изменчивые узоры.

— Здесь никого нет, — сказал он. — Это был просто сон. Дурной сон. Ты переутомилась.

— Он сказал... — Эстер запнулась. В её глазах стояли слёзы. — Он сказал, что придёт снова. Что я выношу ему сына.

— Какого сына? — спросил Иезекииль, и холодок пробежал по его спине, хотя он всё ещё пытался убедить себя, что это всего лишь ночной кошмар.

Но Эстер больше ничего не сказала. Она закрыла глаза, и её дыхание постепенно выровнялось, переходя в глубокий, почти неестественно спокойный сон. Иезекииль ещё долго сидел рядом, глядя то на неё, то на тёмный угол, где висела икона. Огонёк лампадки, едва теплившийся перед ликом Богородицы, вдруг мигнул и погас сам собой, хотя масла было ещё достаточно. Иезекииль перекрестился. Впервые за много лет ему стало по-настоящему страшно.

Снаружи, над горой Пропась, собирались тучи. Ветер выл в трубе, и в его вое слышалось что-то, похожее на далёкий, насмешливый смех. Или ему только показалось.

## Глава 2. Сон Эстер

Иезекииль не верил в сны.

Он вырос в семье, где снам не придавали значения. Его отец, лесоруб и охотник, говорил: «Сны — это пар от желудка, не больше». Мать, женщина набожная, но практичная, считала, что Господь говорит с человеком через Писание и через совесть, а не через ночные видения. Сам Иезекииль, дожив до тридцати пяти лет, ни разу не видел сна, который запомнил бы дольше, чем на минуту после пробуждения. Поэтому, когда Эстер начала рассказывать ему о своих кошмарах, он слушал с жалостью, но без тревоги. Он был уверен: это пройдёт. Всё проходит.

Но у Эстер не проходило.

Дни тянулись за днями, а она становилась бледной, молчаливой, с остановившимся взглядом, который, казалось, смотрел не на мужа, не на стены дома, а куда-то сквозь них, в недоступную ему даль. Она по-прежнему вставала на рассвете, растапливала печь, готовила немудрёный завтрак, но все её движения были замедленными, как у человека, который только что оправился от долгой болезни или ещё не совсем проснулся. Она почти ничего не ела. Похудела так, что платье, ещё месяц назад сидевшее впору, теперь висело на ней мешком. Под глазами залегли глубокие, синеватые тени, и щёки впали, отчего скулы выступили резче, и лицо приобрело новое, незнакомое выражение — выражение загнанного зверька, который ждёт удара.

Иезекииль пытался расшевелить её разговорами о хозяйстве, о погоде, о соседях, но она отвечала односложно и без интереса. Он приносил ей из леса пучки поздних цветов — золотых шаров и диких астр, которые она всегда любила ставить в глиняный кувшин на подоконнике. Она брала их, кивала, но цветы оставались лежать на столе, и через день он выбрасывал их, увядшие, так и не попавшие в воду.

Только раз, в один из особенно тихих вечеров, когда дождь барабанил по крыше, а ветер завывал в трубе, Эстер заговорила сама. Иезекииль, чинивший упряжь при свете масляной лампы, поднял голову и увидел, что она сидит, подавшись вперёд, стиснув руки на коленях, и смотрит на него в упор. В её глазах стоял страх — такой глубокий и такой искренний, что у него на мгновение перехватило дыхание.

— Ты должен выслушать меня, — сказала она тихо, но твёрдо. — Я знаю, ты не веришь в дурные сны. Но это был не просто сон. Я видела... я видела Его.

— Кого «его»? — спросил Иезекииль, откладывая упряжь.

— Его, — повторила она шёпотом. — Того, кто приходит во тьме. У него нет лица — только чернота и два глаза, горящие, как угли. И рога — как сухие ветви. Он вышел из леса и стоял там, в углу, и смотрел на меня. А потом... — Она запнулась. Её губы задрожали. — Потом Он заговорил. Не вслух — здесь, внутри. — Она прижала ладонь ко лбу. — Он сказал, что я выношу Ему сына. Что мой ребёнок будет не нашим. Что через ребёнка Он войдёт в этот мир.

Иезекииль встал, подошёл к ней и опустился рядом на корточки. Взял её холодные руки в свои, заглянул в глаза.

— Послушай меня, Эстер, — сказал он спокойно и твёрдо, тем голосом, каким говорят с испуганными детьми или больными животными. — Ты сама не своя последние дни. Ты мало спишь, мало ешь, ты всё время тревожишься. Неудивительно, что тебе снятся дурные сны. Это не дьявол и не его козни. Это просто усталость. Женская нервическая натура. Пройдёт.

— Ты не понимаешь, — прошептала она, и в её голосе прозвучало отчаяние. — Я чувствую его. Здесь. — Она положила ладонь на живот. — Оно растёт. Я знаю, что это не наш ребёнок.

— Эстер, — он покачал головой, стараясь, чтобы его голос звучал мягко, но в нём уже пробивалась нотка раздражения, которую он не сумел до конца скрыть. — То, что ты чувству-

ешь, — это страх. Страх перед неизвестным. Перед будущим. Ты же всегда хотела ребёнка. Может быть, Господь и вправду послал нам его, а твой разум, ослабленный тревогой, выдумывает небылицы.

— Ты думаешь, я сумасшедшая, — произнесла она без выражения.

— Я думаю, что ты устала, — ответил он. — И что тебе нужен покой. Завтра я поеду в город и привезу доктора Марша. Пусть осмотрит тебя. Может, пропишет какие-нибудь укрепляющие средства.

Эстер ничего не сказала. Она отвернулась к окну, и он увидел, как по её щеке скатилась одинокая слеза. Но Иезекииль не стал её утешать. Он вернулся к своей упряжи, уверенный, что поступает правильно. Женщины впечатлительны. Женщины мнительны. Так было, так есть, так будет. Нельзя потакать этим фантазиям — от них только хуже.

На следующий день, как и обещал, он запряг лошадь и поехал в Грэнтон. Дорога заняла добрых три часа, и всё это время он думал о жене. О том, как она изменилась за последние недели. О её глазах, в которых поселился страх. О том, что она сказала про ребёнка. «Не наш», — повторил он про себя и усмехнулся. Чей же ещё? Уж не дьявола ли? Это было смешно, нелепо, и всё же где-то в глубине души, там, куда он сам боялся заглядывать, шевелился холодный, липкий червячок сомнения. Но Иезекииль был человеком веры и человеком дела. Он не позволял сомнениям брать верх.

Доктор Марш оказался дома и, выслушав короткий рассказ Иезекииля, согласился поехать немедленно. Это был грузный мужчина лет шестидесяти, с красным лицом, одышкой и манерами человека, который много лет имеет дело с чужими болезнями и уже научился не принимать их близко к сердцу. Всю дорогу он расспрашивал Иезекииля о симптомах, о настроении жены, о её аппетите, и на каждый ответ удовлетворённо кивал, будто заранее знал диагноз.

Когда они приехали, Эстер сидела всё в том же кресле у окна, закутанная в шаль, хотя в доме было тепло. Увидев доктора, она не выказала ни радости, ни тревоги — только кивнула и позволила осмотреть себя с той покорностью, с какой больное животное позволяет ветеринару делать своё дело.

Доктор Марш работал молча и сосредоточенно. Он прослушал сердце и лёгкие, проверил зрачки, ощупал живот, задал несколько вопросов — нет ли тошноты по утрам, не изменились ли вкусовые пристрастия. Эстер отвечала коротко, нехотя, но доктор, казалось, уже всё понял. Когда он закончил осмотр, то попросил Иезекииля выйти с ним на крыльцо.

На улице моросил мелкий осенний дождь. Доктор закурил трубку, выпустил облачко душистого дыма и, щурясь от сырости, сказал:

— Поздравляю вас, мистер Валли. Ваша жена в положении. Месяца два, может, чуть больше.

Иезекииль ожидал этих слов, но всё равно они ударили его, как обухом по голове. Он стоял и молчал, глядя в мокрую землю, и внутри него боролись два чувства — радость, которую он должен был испытывать, и что-то другое, тёмное, чему он не мог подобрать названия.

— А её состояние? — спросил он наконец. — Эта бледность, эти страхи, бессонница...

— Обычное дело, — махнул рукой доктор. — У некоторых женщин беременность протекает тяжело. Организм перестраивается, кровь приливает к одним органам и отливает от других. Отсюда и нервы, и дурные сны, и меланхолия. Пропишу ей успокоительный отвар — пустырник, мяту, немного валерианы. И побольше свежего воздуха. И поменьше волнений. Через пару месяцев всё нормализуется.

— Она говорит... странные вещи, — осторожно произнёс Иезекииль. — Будто бы... ей снятся кошмары. Про дьявола. Про то, что ребёнок не наш.

Доктор усмехнулся — не зло, а снисходительно, как усмеваются взрослые над детскими страхами.

— Это всё нервы, мистер Валли. У моей покойной жены, царствие ей небесное, тоже бывали фантазии, когда она носила нашего младшего. То ей казалось, что ребёнок не шевелится, то — что шевелится слишком сильно. Один раз она заявила, что чувствует у младенца когти. — Он хохотнул. — А родился здоровый мальчик, десять фунтов, орёт — за версту слышно. Так что не берите в голову. Пройдёт.

Иезекииль кивнул. Слова доктора подействовали на него успокаивающе. В конце концов, кто он такой, чтобы спорить с человеком, который двадцать лет лечит людей? Если доктор говорит, что это обычное дело, значит, так и есть.

Он проводил доктора, вернулся в дом и подошёл к жене.

— Ну вот, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал бодро. — Доктор говорит, ты беременна. Поэтому и недомогание. Это всё естественно. Пройдёт через месяц-другой.

Эстер подняла на него глаза. В них не было ни радости, ни облегчения. Только всё та же глухая, беспросветная тоска.

— Ты ему не рассказал, — произнесла она тихо. — Про то, что я видела.

— Рассказал, — солгал Иезекииль. — Он сказал, это обычные страхи. У многих женщин такое бывает. Организм перестраивается, нервы шалят. Ничего сверхъестественного.

— Значит, он тоже не верит.

— Тут не во что верить, Эстер. Ты придумала себе беду и теперь сама в неё веришь. А беды никакой нет. Есть ребёнок. Наш с тобой ребёнок. Понимаешь?

Она ничего не ответила. Только губы её дрогнули в горькой, невесёлой усмешке.

В последующие дни Иезекииль старался быть особенно внимательным к жене. Он сам готовил еду, сам топил печь, сам доил корову, чтобы избавить Эстер от лишней работы. По вечерам он читал ей вслух Библию — те места, где говорилось о надежде и уповании на Господа. Он молился вместе с ней перед сном, и она послушно повторяла слова молитвы, но он чувствовал: её мысли где-то далеко.

Ей не становилось лучше. Напротив — с каждым днём она угасала всё заметнее. Отвар, прописанный доктором, не помогал. Свежий воздух не помогал. Молитвы не помогали. Она по-прежнему почти не спала, а когда засыпала, то металась во сне и стонала так жалобно, что у Иезекииля сжималось сердце. Однажды ночью она закричала — тем самым страшным, животным криком, от которого он проснулся в холодном поту, — и когда он бросился к ней, она сидела на кровати, глядя перед собой остановившимися глазами, и повторяла: «Он здесь, он здесь, он в комнате...»

В комнате никого не было. Только тени. Только луна, заглядывающая в окно.

Иезекииль понимал: нужно что-то делать. Доктор не помог, его собственные слова не помогли, оставалась последняя надежда — на Бога. Не на того Бога, которому он молился дома, а на того, что обитал в церкви, в освящённых стенах, где сам воздух был пропитан ладаном и веками веры. Он решил ехать к священнику.

Отец Томас принял его в ризнице. Он был спокоен и доброжелателен, но Иезекиилю показалось, что в его глазах мелькнула тень усталости — или разочарования.

— Я слушаю вас, сын мой, — сказал священник, садясь напротив.

Иезекииль рассказал всё: о беременности, о ночных страхах жены, о её сне, в котором она видела дьявола, о её убеждённости, что ребёнок — не его. Он говорил долго, сбивчиво, и под конец сам почувствовал, что его слова звучат нелепо.

Отец Томас слушал внимательно, не перебивая. Когда Иезекииль закончил, он некоторое время молчал, потом откинулся на спинку стула и сложил руки на груди.

— Ваша жена глубоко верующая женщина, — произнёс он наконец. — И её вера, как это часто бывает, делает её уязвимой для страхов. Дьявол — это не сказка, мистер Валли. Он существует. Но он не является к каждому, кому приснился дурной сон.

— Значит, вы думаете, что ей это просто кажется? — спросил Иезекииль.

— Я думаю, что её страхи вызваны естественными причинами — усталостью, телесными переменами, волнением перед материнством, — ответил священник. — Враг рода человеческого, конечно, может использовать эти страхи, чтобы смущать её душу. Но это не значит, что он вселился в неё или в ребёнка.

— Что же мне делать? Она не слушает меня. Она не верит доктору.

— Молитесь, — сказал отец Томас. — Молитесь вместе. Читайте Писание. Я дам вам освящённую воду и благословлю ваш дом. Но главное — будьте с ней. Не оставляйте её одну со своими мыслями. Поддерживайте её. И верьте, что Господь не допустит зла.

Иезекииль принял благословение, взял бутылочку святой воды и поехал обратно. Всю дорогу он твердил про себя слова священника: «Не допустит зла. Не допустит зла. Не допустит». Он верил в это. Он должен был верить.

Но когда он подъехал к хутору и слез с лошади, его встретил запах.

Тот самый. Сладковатый, приторный, напоминающий увядающие лилии. Он исходил не из дома — из леса. С той стороны, где чернела гора Пропась.

Иезекииль остановился, принюхался. Запах был отчётливым, почти осязаемым. Он наполнял воздух, смешиваясь с запахом мокрой хвои и сырой земли, но не теряясь в них, а, наоборот, выделяясь, как выделяется фальшивая нота в знакомой мелодии.

Иезекииль перекрестился и вошёл в дом. Эстер спала — или делала вид, что спит. Он тихо разделся, лёг рядом и долго лежал, глядя в потолок. Сна не было. Запах не выходил из головы.

И тут он услышал смех.

Он донёсся из леса — тихий, переливчатый, совершенно отчётливый. Это не был смех взрослого человека. Это был смех ребёнка — или кого-то, кто притворялся ребёнком.

Иезекииль сел в постели. Сердце колотилось так, что отдавалось в висках. Он прислушался. Смех повторился — теперь ближе, почти у самого дома. А потом стих. Только ветер. Только дождь, барабанивший по крыше.

«Это зверь, — сказал он себе. — Какой-нибудь зверь. Рысь или филин. Они иногда кричат, как люди».

Он лёг обратно и заставил себя закрыть глаза. Но перед внутренним взором встала картина: маленькая фигурка, стоящая на опушке леса, и глаза, горящие во тьме, как угли.

«Господи, защити нас, — прошептал он. — Господи, защити мою жену и моего ребёнка».

### Глава 3. Рождение Джейкоба

Зима в тот год пришла рано и легла на долину тяжёлой, неумолимой плитой. Ещё в ноябре, до Дня благодарения, ударили первые морозы — такие, что земля затвердела как кость, а ручей у дома замолчал, схваченный льдом до самого дна. Потом повалил снег — густой, мокрый, а за ним и сухой, колючий, который ветер с востока закручивал в тугие спирали и швырял в окна, словно кто-то с той стороны пытался проникнуть внутрь.

Иезекииль работал от зари до зари. Нужно было заготовить дрова, укрепить крышу, проверить силки — зима обещала быть долгой, и полагаться в такую пору можно было только на собственные руки. Но главная его забота лежала в доме, в постели у окна, где Эстер проводила теперь почти всё время.

Она больше не вставала. Не потому, что не могла — ноги ещё держали, — а потому что не хотела. Она лежала, отвернувшись лицом к стене, и говорила редко, односложно, словно каждое слово приходилось вытягивать из неё клещами. Живот её, уже большой, вздымался под одеялом крутой, неестественно высокой горой, и Иезекиилю иногда казалось, что он видит, как там, под кожей, что-то шевелится — не плавно, как обычно шевелятся младенцы, а резко, рывками, будто перекатываясь с боку на бок.

Он гнал эти мысли. Он повторял себе слова доктора Марша: «Нервы, только нервы». Он ставил у изголовья икону, зажигал лампадку, читал вслух псалмы — но Эстер не поворачивала головы. Иногда, прерывая чтение, он ловил на себе её взгляд — долгий, неподвижный, полный такого мрачного, всезнающего отчаяния, что у него язык прилипал к нёбу.

— Ты всё ещё думаешь, что это просто сон? — спросила она однажды вечером, когда метель особенно сильно билась в ставни.

Он не сразу нашёлся что ответить.

— Я думаю, что ты устала и напугана, — сказал он наконец. — Но это пройдёт. Скоро родится ребёнок, и всё наладится.

— Когда он родится, — ответила она тихо, почти шёпотом, — ты сам увидишь. И тогда уже тебе придётся поверить.

Он промолчал. А ночью, когда она забылась беспокойным сном, вышел на крыльцо и долго стоял там, глядя в темноту. Метель стихла, и в наступившей тишине он снова услышал смех — далёкий, переливчатый, доносящийся из леса, где не могло быть ни одного живого человека. В морозном воздухе стоял всё тот же сладковатый запах, который он теперь научился различать даже сквозь запах дыма и снега.

Он перекрестился и вернулся в дом, сказав себе, что это воет лисица или скрипит старая ель. Но спал в ту ночь плохо.

Рождество прошло безрадостно. Они не поехали в церковь — Эстер была слишком слаба, а Иезекииль не решался оставить её одну. Он приготовил скромный ужин, зажёл свечу перед иконой, и они встретили праздник вдвоём, в тишине, нарушаемой только воем ветра и редкими стонами жены. Эстер почти не притронулась к еде. К вечеру у неё начались боли — первые схватки, о которых она сообщила мужу безжизненным, бесцветным голосом, как сообщают о приходе незваного гостя.

Иезекииль немедленно послал за повитухой. Ближайшая жила в Грэнтоне — старуха Марта, принимавшая роды в этих краях уже больше тридцати лет. Но дорогу замело, и посыльный — молодой парень с соседнего хутора — вернулся только на следующий день, с пустыми санями: старуха обещала приехать, как только позволит погода. Погода не позволяла.

Схватки усиливались. Эстер кричала — не так, как кричат роженицы, а как-то иначе: в её крике слышался не только физический мука, но и неподдельный, животный ужас. Она отталкивала руки мужа, металась на постели, и в её глазах, широко открытых, застыло выражение,

от которого у Иезекииля леденело внутри. Ему казалось, что она борется не с болью, а с чем-то, что рвётся из неё, — и это что-то не хочет появляться на свет обычным, естественным путём.

Прошло два дня. Иезекииль почти не спал. Он боялся, что Эстер умрёт у него на руках, и он останется один — с мёртвой женой и мёртвым младенцем в этом проклятом доме на краю леса. Он молился, стоя на коленях, так, как не молился никогда в жизни, но слова отскакивали от стен и возвращались пустыми, неслышанными.

На третью ночь буран наконец утих, и под утро, когда небо на востоке только начало сереть, у ворот послышался скрип полозьев. Старуха Марта, закутанная в тулуп до самых глаз, слезла с саней и, не сказав ни слова, прошагала в дом. От неё пахло табаком, сушёными травами и чем-то ещё — может быть, временем, которое давно приучило её ничему не удивляться.

Она скинула тулуп, засучила рукава и принялась за дело. Иезекииля она выставила в соседнюю комнату, велела греть воду и не мешаться под ногами. Он подчинился. Стоял у печи, смотрел, как закипает вода в большом чугушке, и слушал звуки, доносящиеся из-за закрытой двери: стоны Эстер, строгий голос повитухи, плеск воды, бряцанье инструментов. Потом крик стал громче, достиг вершины, на которой, казалось, человеческий голос не может удержаться, — и вдруг оборвался.

Наступила тишина. Такая глубокая, такая внезапная, что Иезекииль замер с тряпкой в руке и боялся вздохнуть.

В тишине прошло несколько мгновений — или несколько минут, он потом не мог вспомнить. Затем дверь приоткрылась, и старуха Марта позвала его.

— Входи, — сказала она, и в её голосе ему послышалось что-то странное. Не радость, не облегчение, а скорее... осторожность. Как будто она не была уверена, что всё в порядке.

Он вошёл. В комнате было жарко, пахло кровью и потом, и чем-то ещё — сладковатым, как тот запах из леса. Эстер лежала на постели, бледная как полотно, с закрытыми глазами, но дышала. На руках у старухи, завёрнутый в чистую тряпицу, лежал младенец.

— Сын, — сказала повитуха. — Крупный. Здоров.

Иезекииль подошёл ближе. Его сердце колотилось так, что он слышал его в ушах. Он протянул руки, и старуха осторожно передала ему свёрток.

Младенец был крупным, с тёмными волосиками, прилипшими к влажной головке. Лицо — сморщенное, красноватое, как у всех новорождённых. Но глаза...

Глаза были открыты.

Не щёлочки, не мутные, бессмысленные глазёнки младенца, который ещё не научился видеть. Они были открыты широко, ясно, осмысленно — такого не могло быть у ребёнка, только что появившегося на свет. Иезекииль смотрел в них и чувствовал, как холод, тот самый холод, о котором говорила Эстер, разливается от груди к конечностям, сжимая пальцы, сжимавшие свёрток.

Глаза были светлыми, почти прозрачными, как слюда, как ледяная вода в глубоком колодце. В них не было ни страха, ни удивления, ни той беспомощной пустоты, которая бывает у младенцев. В них было внимание. Спокойное, оценивающее, взрослое внимание.

Иезекииль вспомнил слова Эстер: «Ты сам увидишь. И тогда уже придётся поверить».

— Чего он не кричит? — спросил он, и его голос прозвучал хрипло, чуждо.

— А кто ж его знает, — ответила повитуха, отводя взгляд. — Бывает такое. Некоторые молчат. Потом раскричатся.

Но она тоже чувствовала — Иезекииль видел это по тому, как она перекрестилась украдкой, как старалась не смотреть на младенца, как быстрее обычного собирала свои инструменты.

Эстер открыла глаза. Он поднёс младенца к ней, надеясь, что вид сына разбудит в ней то, что должно было проснуться в матери, — нежность, любовь, тепло. Но она только взглянула и отвернулась. Её губы беззвучно зашевелились, и Иезекиилю показалось, что она шепчет: «Нет. Не мой. Не наш».

— Эстер, — позвал он, но она закрыла глаза и больше не отзывалась.

Старуха уехала через час, оставив подробные наставления и обещание заехать через несколько дней. Иезекииль проводил её до ворот, и когда сани скрылись за поворотом, он остался стоять в снегу, слушая, как ветер шуршит сухими ветками. Запах — тот самый, из леса, — стал сильнее. И смех, едва различимый, донёлся из-за деревьев.

Он вернулся в дом. Младенец лежал в колыбели, которую Иезекииль сколотил месяц назад, ещё надеясь, что всё будет хорошо. Он не плакал. Он просто лежал, разглядывая потолок, и в его глазах, отражавших свет лампадки, горели два крошечных, холодных огонька.

Иезекииль опустился на колени перед иконой и попытался молиться. Но слова не шли. Он чувствовал, что в этом доме, в этой комнате, в этой колыбели теперь живёт что-то, чему нет названия в молитвах. И что бы это ни было, оно не уйдёт. Оно только начало. А всё самое страшное ещё впереди.

Ночью, когда луна взошла над горой и залила комнату мёртвым, серебристым светом, Иезекииль проснулся от звука. Это был не плач. Это был смех. Тихий, переливчатый, детский смех, доносящийся из колыбели.

Он сел в постели, чувствуя, как волосы шевелятся на затылке. Смех тут же стих. Младенец лежал тихо, с открытыми глазами, и смотрел прямо на отца. Иезекииль готов был поклясться, что в этих глазах промелькнуло что-то похожее на насмешку. Потом младенец медленно, как будто осознанно, закрыл глаза и затих.

Иезекииль не спал до утра. Он сидел у колыбели, сжимая в руке нательный крест, и смотрел, как за окном медленно светлеет небо. Впервые в жизни ему пришло в голову, что доктор Марш ошибся. И священник ошибся. И, возможно, его собственная вера, которую он считал несокрушимой, ничего не стоит перед тем, что поселилось в его доме.

Но он ещё не знал, что делать с этим знанием. И пока он просто сидел и ждал. Ждал, утра.

## Глава 4. Змеёныш в доме

Первые месяцы после рождения Джейкоба прошли для Иезекииля словно в тумане. Он спал урывками, работал через силу, ел что попало, и единственное, что держало его на ногах, — это привычка. Привычка вставать затемно, привычка колоть дрова, привычка проверять силки, привычка делать то, что нужно, не спрашивая себя, зачем. Мозг его, утомлённый бессонницей и тревогой, отказывался заглядывать вперёд дальше, чем на полдня. Он жил от рассвета до заката, а по ночам лежал без сна и слушал.

Слушал дыхание жены — слабое, неровное, иногда прерывающееся долгими паузами, от которых у него сердце ухало в пятки. Слушал звуки из колыбели. Младенец почти не плакал. Это было странно. Соседские дети, племянники и племянницы, которых Иезекииль видел в Грэнтоне, кричали ночи напролёт — требовали еды, тепла, материнских рук. Джейкоб молчал. Иногда, просыпаясь среди ночи, Иезекииль ловил себя на том, что не слышит вообще ничего — ни сопения, ни возни, ни того недовольного кряхтения, каким младенцы обычно сообщают миру о своём существовании. Тишина стояла такая глубокая, что делалось жутко. Он вставал, подходил к колыбели и видел: ребёнок не спал. Лежал с открытыми глазами, смотрел в потолок, и в его взгляде не было ничего — ни любопытства, ни сонной одури, ни потребности в материнском тепле. Только спокойное, неестественное ожидание.

Когда Иезекииль склонялся над ним, мальчик медленно, как будто нехотя, переводил взгляд на отца. Иезекиилю всякий раз казалось, что эти глаза смотрят не на него, а сквозь него — или, хуже того, внутрь него. Он отступал, крестился и возвращался в постель, стараясь убедить себя, что у младенцев такое бывает. Доктор Марш говорил: «Не ищите странностей там, где их нет». Доктор Марш, наверное, знал, что говорил.

Но доктор Марш не жил в этом доме.

Эстер так и не оправилась после родов. Она уже не лежала пластом, как в первые недели, — вставала, ходила по дому, даже пыталась заниматься хозяйством. Но всё это она делала как тень, как призрак самой себя прежней. Её руки, когда-то ловкие и быстрые, теперь двигались медленно, неловко; пальцы роняли чашки и ложки, не удерживали иголку. Она почти не говорила. Целыми днями сидела у окна, закутанная в шаль, и смотрела на лес. На гору. На восток.

С ребёнком она обращалась странно. Не жестоко — холодно. Кормила его, когда он начинал хныкать (что случалось редко), мыла, пеленала, но всё это проделывала с выражением лица, какое бывает у человека, вынужденного прикасаться к дохлой кошке. Ни разу Иезекииль не видел, чтобы она улыбнулась сыну. Ни разу не слышал, чтобы она спела ему колыбельную. Когда мальчик тянул к ней ручонки, она отворачивалась или просто не замечала.

— Ты бы хоть поговорила с ним, — сказал он как-то раз, вернувшись из леса и застав всё ту же картину: жена у окна, младенец в колыбели, между ними — пропасть молчания.

Эстер подняла на него глаза, и он увидел в них ту же усталую, горькую уверенность, что и раньше.

— О чём? — спросила она. — Он понимает больше, чем мы думаем.

— Он младенец, — возразил Иезекииль. — Младенцы ничего не понимают.

— Этот понимает, — ответила Эстер и отвернулась.

Иезекииль не стал спорить. Он уже понял, что спорить с женой бесполезно. Она была убеждена в своей правоте так же твёрдо, как он — в своей. Два мира столкнулись в этом доме и не могли найти общего языка.

Время шло, и Джейкоб рос. Рос он неправильно.

Уже в полгода он сел — не пошатнувшись, не качнувшись, а ровно и устойчиво, как взрослый. В восемь месяцев встал на ноги и пошёл — не теми неуверенными, шаткими шажками, какими обычно ходят дети, а твёрдо, почти механически, словно тело его знало, что

делать, и лишь ждало, пока мышцы окрепнут достаточно, чтобы это знание осуществить. К году он уже бегал. Соседи, заезжавшие редко, только ахали: «Какой крепкий мальчик! Какой развитой!» Иезекииль кивал, но про себя думал: развитой не так, как надо.

В год и два месяца Джейкоб заговорил. Это случилось не постепенно, не с лепета и отдельных слогов — он просто однажды открыл рот и произнёс целую фразу. Иезекииль рубил дрова во дворе, когда услышал голос — не детский, а какой-то странный, гортанный, шипящий. Он обернулся. Джейкоб стоял на крыльце, держась за перила маленькой, неестественно бледной ручкой, и смотрел на отца.

— Ты что-то сказал? — спросил Иезекииль, чувствуя, как холодок пробежал по спине.

Мальчик повторил. Теперь Иезекииль расслышал слова — вернее, слово. Оно не было английским. Оно не походило ни на один язык, который он когда-либо слышал, — ни на индейские наречия, ни на немецкий, ни на латынь, которую он немного знал по церковным службам. Оно состояло из свистящих и гортанных звуков, сплетённых в такую комбинацию, что человеческое горло, казалось, не могло бы их произнести. И тем не менее мальчик произносил их легко и даже с каким-то удовольствием.

— Что это? — спросил Иезекииль, опуская топор. — Откуда ты это взял?

Джейкоб не ответил. Он улыбнулся — той самой улыбкой, которую Иезекииль впервые увидел в ту ночь после родов. Улыбкой, в которой не было ни тепла, ни детской радости. Только знание. И насмешка.

Иезекииль подошёл к крыльцу, взял сына на руки и занёс в дом. Он ничего не сказал Эстер, но в тот вечер долго молился, стоя на коленях перед иконой. Ему казалось, что тени в углах комнаты стали гуще, а лампадка горит не так ярко, как прежде.

К трём годам Джейкоб выглядел на пять. Он был высок, худ, с бледным, почти фарфоровым лицом и светлыми волосами, которые Эстер давно перестала стричь, и они падали ему на плечи мягкими волнами. Постороннему он показался бы красивым ребёнком — ангелоподобным, как говорили в городе. Но те, кому случалось задержаться в доме дольше пяти минут, замечали, что красота эта какая-то неживая. Слишком правильная. Слишком совершенная. Как у фарфоровой куклы.

И глаза. Глаза менялись. В младенчестве они были светлыми, почти прозрачными. Теперь они стали голубыми — яркими, чистыми, но с каким-то холодным, металлическим отливом, как у зимнего неба перед бурей. И взгляд — всегда прямой, всегда оценивающий, всегда на долю секунды дольше, чем нужно, — заставлял людей чувствовать себя неуютно. Соседи, приходившие по делам, старались не оставаться наедине с мальчиком. Они не могли объяснить, почему. Просто чувствовали: что-то с ним не так.

Иезекииль тоже это чувствовал, но он давил в себе это чувство, загонял его вглубь, как загоняют соринку под ноготь — больно, но терпимо. Он всё ещё надеялся, что всё обойдётся, что мальчик просто необычный, может быть, даже одарённый, и что со временем его странности сгладятся, растворятся в обычной детской жизни.

Но странности не сглаживались. Напротив. С каждым месяцем они становились всё более явными, всё более пугающими.

Первое происшествие случилось весной, когда Джейкобу было около трёх с половиной. Эстер держала в сарайчике за домом несушек — пять или шесть кур, которые исправно давали яйца и не требовали много корма. Однажды утром она вышла покормить их и вернулась белая как мел.

— Что? — спросил Иезекииль, увидев её лицо.

— Куры, — ответила она. — Посмотри сам.

Он вышел. В сарайчике, на земляном полу, лежали птицы. Все до единой. Их головы были свернуты — не отрублены, не раздавлены, а именно свернуты, вывернуты под неестественным

углом, как будто кто-то брал каждую птицу в руки и аккуратно, методично сворачивал ей шею. Крови не было. Перья не были разбросаны — никаких следов борьбы.

Иезекииль обернулся. Джейкоб стоял на крыльце и смотрел на него. В его руке была палка, которой он чертил что-то на земле.

— Ты был в сарае? — спросил Иезекииль, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.

— Был, — ответил мальчик, не прекращая своего занятия.

— Ты трогал кур?

— Трогал.

— Зачем?

Джейкоб поднял глаза. В них не было ни страха, ни раскаяния, ни даже любопытства. Только спокойное удовлетворение — как у кошки, которая съела канарейку и теперь греется на солнце.

— Я хотел посмотреть, что у них внутри, — сказал он. — Но я не успел. Ты пришёл.

Иезекииль тогда выпорол его ремнём — впервые в жизни. Джейкоб не плакал. Он стоял, согнувшись, принимая удары, и молчал. А когда экзекуция кончилась, выпрямился, посмотрел на отца своими холодными голубыми глазами и спросил:

— Тебе стало легче?

Это было сказано без вызова, без насмешки — с искренним, почти научным любопытством. Как будто мальчик изучал отца, ставил эксперимент и записывал в уме результаты. Иезекииль опустил ремень, чувствуя, как ярость уступает место чему-то другому — более глубокому, более тёмному. Чувству, что он не понимает, с кем имеет дело. И не понимает уже давно.

Эстер после того случая перестала выходить из дома. Несколько дней она вообще не поднималась с постели, а когда встала, то выглядела ещё хуже, чем прежде. Иезекииль заметил, что она боится оставаться наедине с сыном. Когда он уходил в лес, она запиралась в спальне и не выходила до его возвращения. Джейкоб, казалось, находил это забавным. Он иногда подходил к двери спальни и тихо, почти интимно говорил что-то в замочную скважину — Иезекииль не слышал, что именно, но каждый раз после этого Эстер плакала.

Однажды, вернувшись раньше обычного, он застал такую сцену: Эстер стояла у окна, прижав руки к груди, а Джейкоб сидел на стуле посреди комнаты и смотрел на неё. Между ними шёл разговор — вернее, говорил Джейкоб, а мать молчала, бледнея с каждой секундой.

— ...и тогда ты увидишь, что ничего нет, — услышал Иезекииль обрывок фразы. — Только темнота. Только холод. И ты будешь совсем одна.

— Замолчи! — крикнул он, входя в комнату и хватая сына за плечо. — О чём ты говоришь? Кто тебя этому научил?

Джейкоб обернулся к нему, и на его лице снова была эта улыбка — спокойная, понимающая, взрослая.

— Никто, — ответил он. — Я сам знаю.

В тот вечер Эстер впервые за долгое время заговорила с мужем. Она сидела на кровати, сжавшись в комочек, и её голос был тихим, как шелест сухих листьев.

— Он не просто злой, — сказала она. — Злые дети бывают. Это другое. Он... он питается мной. Высасывает. Я чувствую, как с каждым днём становлюсь слабее. Как будто он забирает мою жизнь по капле. Я уже почти пустая.

— Это болезнь, — упрямо повторил Иезекииль. — Ты просто больна. И он тоже, может быть, болен. Мы найдём врача. Мы найдём...

— Нет, — перебила она. — Никакой врач не поможет. Потому что это не болезнь. Это... он. Он такой, каким был задуман. Каким был послан.

— Кем послан? — спросил Иезекииль, хотя знал ответ.

Эстер подняла на него глаза, полные той же всезнающей тоски, что и в первые дни после родов.

— Тем, кто приходил ко мне во сне, — прошептала она. — Тем, у кого глаза как угли. Он здесь. Он всегда был здесь. А теперь у него есть сын. И сын этот живёт с нами.

Иезекииль встал и вышел на крыльцо. Ночь была безлунной, и гора Пропась на востоке угадывалась только по тому, как сгущалась тьма. Он стоял, вдыхая морозный воздух, и чувствовал знакомый сладковатый запах. И где-то далеко, на самой границе слышимости, звучал смех. Детский. Переливчатый. Довольный.

Он вернулся в дом и больше не говорил с женой о её страхах. Но с этого дня он стал смотреть на сына по-другому. С этого дня он начал замечать то, чему раньше не придавал значения. Мелкие, незначительные детали, которые по отдельности ничего не значили, но вместе складывались в картину, от которой мороз шёл по коже.

Он заметил, что в присутствии Джейкоба в доме всегда холоднее, чем должно быть. Что свечи горят тусклее, а лампадка перед иконой гаснет сама собой, сколько бы масла он ни подливал. Что тени в углах комнаты, где сидит мальчик, становятся гуще и длиннее, чем тени в других местах. Что собака, жившая у них на цепи, скулит и прячется в будку всякий раз, когда ребёнок выходит во двор. Что птицы умолкают, когда Джейкоб проходит мимо. Что цветы, которые Эстер когда-то любила, больше не приживаются на подоконниках.

Но хуже всего были разговоры. Джейкоб говорил редко, но каждое его слово попадало в цель, как стрела, пущенная умелой рукой. Он знал, что сказать, чтобы сделать больно. Знал, какие страхи мучают мать, какие сомнения терзают отца. И он использовал это знание с холодной, расчётливой жестокостью, которая была бы отвратительна во взрослом и казалась чудовищной в ребёнке.

Однажды вечером, когда Эстер, обессиленная очередным приступом слабости, лежала на кровати, Джейкоб подошёл к ней и сел рядом. Иезекииль, чинивший упряжь в соседней комнате, слышал каждое слово.

— Ты скоро умрёшь, — сказал мальчик. Голос его был ровным, спокойным, почти ласковым. — Ты же знаешь это, правда?

Эстер не ответила.

— Я видел это, — продолжал он. — Ты будешь лежать здесь, в этой самой кровати, и смотреть в потолок. А потом придёт ночь, и Он придёт за тобой. Тот самый. Ты его узнаешь. Он скажет тебе: «Пора». И ты уйдёшь. А я останусь здесь. С папой.

Иезекииль встал. Ремень, который он держал в руках, дрожал. Он вошёл в комнату и молча указал сыну на дверь. Джейкоб поднялся, посмотрел на отца с выражением лёгкого разочарования — как ребёнок, которому не дали доиграть в интересную игру — и вышел.

Эстер лежала, закрыв лицо руками. Плечи её тряслись от беззвучных рыданий. Иезекииль опустился рядом, взял её за руку, но она выдернула пальцы и отвернулась к стене.

— Он прав, — прошептала она. — Я скоро умру. И ничего нельзя изменить.

— Ты не умрёшь, — сказал Иезекииль, но голос его прозвучал глухо, неубедительно.

Он сам себе не верил.

Лето 1880 года выдалось жарким и душным, но в доме Валли словно поселился холод. Эстер уже не вставала. Она лежала в постели, исхудавшая до неузнаваемости, и молчала целыми днями. Её глаза, когда-то золотисто-карие, теперь казались выцветшими, почти бесцветными. Она напоминала свечу, которая догорает, — ещё есть фитиль, ещё теплится огонёк, но воска почти не осталось, и пламя колеблется от малейшего дуновения.

Джейкоб почти не обращал на мать внимания. Он выходил из дому рано утром и пропадал где-то до вечера — в лесу, у ручья, на склонах горы. Иезекииль не знал, чем он там занимается, и, честно говоря, боялся узнавать. Иногда он пробовал следить за сыном, но каждый раз терял его из виду — мальчик двигался бесшумно, как тень, и знал лес лучше любого охотника.

Однажды вечером, вернувшись домой, Джейкоб положил на стол дохлую белку. Она была целой, без следов зубов или когтей. Просто мёртвой. Иезекииль посмотрел на белку, потом на сына.

— Зачем? — спросил он.

— Просто, — ответил Джейкоб. — Я хотел посмотреть, как она умрёт.

— Как она умерла?

— Я держал её в руках, — сказал мальчик, и в его голосе прозвучала странная, мечтательная нотка. — Очень крепко. Она пыталась вырваться, а потом перестала. Это было быстро. Но интересно. У неё сердечко билось так сильно, а потом... перестало.

Иезекииль выбросил белку в лес и ничего не сказал. Но в тот вечер он впервые подумал — не о том, что мальчик болен, не о том, что он одержим. О том, что он, возможно, не человек. Что в нём нет того, что делает человека человеком, — нет жалости, нет сострадания, нет даже понимания, что такое боль другого. И это не было следствием дурного воспитания. Этому нельзя было научить. Это было врождённым. Изначальным.

Джейкобу шёл восьмой год. Эстер доживала последние дни. Иезекииль знал это, но не мог ничего изменить. Он только молился. Молился так, как не молился никогда, — до кровавых мозолей на коленях, до хрипоты в горле. Но Господь молчал.

А из леса по ночам доносился смех. Теперь он звучал чаще и громче. Иногда Иезекиилю казалось, что смех этот исходит не из леса, а из комнаты сына. Но когда он подходил к двери, там было тихо. Только тьма. Только холод. И тихий, едва слышный шёпот, словно кто-то молился — или проклинал — на языке, которого нет в человеческих книгах.

## Глава 5. Смерть матери

Осень 1881 года подобралась к хутору Валли незаметно, как вор в ночи. Сперва только листья на клёнах у ручья пожелтели, потом пожухли, потом осыпались, оставив ветви голыми и чёрными на фоне серого, низкого неба. Дожди зарядили такие, что земля размокла, и во дворе стояла непролазная грязь. Потом пришли первые заморозки, и лужи покрылись тонким, хрупким ледком, который звенел под ногами, как битое стекло. Иезекииль работал, не разгибая спины, но теперь его работа была иного рода. Он не валил лес, не охотился, не чинил крышу. Он ухаживал за умирающей женой.

Эстер угасала медленно, неумолимо, как свеча, на которую капля за каплей падает вода. Она почти ничего не ела — несколько ложек бульона в день, не больше. Осунулась так, что кожа обтягивала скулы, как пергамент, и сквозь неё просвечивали кости. Глаза ввалились, и в них больше не было ни страха, ни тоски — только бесконечная, бездонная усталость, какая бывает у людей, которые уже перешли черту и ждут, когда тело последует за душой.

Иезекииль не отходил от неё. Он менял бельё, грел воду, давал питьё, читал вслух псалмы, которые она, казалось, уже не слышала. Иногда, очень редко, она открывала глаза и смотрела на него, и в этом взгляде на мгновение вспыхивало что-то живое — не надежда, не любовь, а скорее воспоминание о них. Потом глаза снова закрывались, и она погружалась в тот странный, пограничный сон, из которого, как боялся Иезекииль, однажды уже не выйдет.

Джейкоб за всем этим наблюдал со стороны.

Ему шёл восьмой год, но выглядел он на все одиннадцать. Высокий, худой, с бледным лицом веснушками и светлыми волосами, спускавшимися до плеч, он походил на сошедшего со старинной картины ангела — но ангела, в котором что-то было неправильно. Может быть, слишком прямой, немигающий взгляд. Может быть, слишком спокойная, понимающая улыбка, которая появлялась на его губах в самые неподходящие моменты. Может быть, манера двигаться бесшумно, как тень, и возникать в дверях тогда, когда его меньше всего ждали.

Он редко заходил в комнату матери. Но когда заходил, воздух вокруг него словно стужался, и Иезекииль физически ощущал холод, исходивший от сына, — тот самый холод, который он впервые почувствовал много лет назад, когда взял новорождённого младенца на руки. Джейкоб останавливался у порога, склонял голову набок и смотрел на мать долгим, оценивающим взглядом, каким смотрят не на живого человека, а на занятный экспонат в кунсткамере.

Однажды, когда Иезекииль вышел на двор за дровами, а вернувшись, застал сына в спальне, он услышал обрывок разговора — вернее, монолога, потому что Эстер не отвечала. Джейкоб сидел на краю кровати и тихо, почти интимно говорил что-то матери на ухо. Иезекииль прислушался.

— Ты уже почти там, — говорил Джейкоб. Голос его был мягким, успокаивающим, как у сиделки, которая утешает больного. — Осталось совсем немного. Я чувствую, как ты уходишь. Это как вода, которая вытекает из треснувшего кувшина — кап, кап, кап... Скоро кувшин опустеет. Ты боишься?

Эстер не отвечала. Её глаза были закрыты, но по щеке скатилась слеза.

— Не бойся, — продолжал Джейкоб. — Там, куда ты идёшь, нет ничего страшного. Только темнота. И холод. И тишина. Такая тишина, какой здесь никогда не бывает. Даже ветра нет. Даже собственного дыхания не слышно. Ты будешь одна. Всегда одна. Но ты привыкнешь. Все привыкают.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.